



ДРУЖБА НАРОДОВ 7/2014

ГОД ИЗДАНИЯ 75-й



- *Александр Кабанов*  
Из книги «Волхвы в планетарии»  
*Стихи*
- *Светлана Максимова*  
Колибри-блюз  
*Венесуэльские хроники*
- *Ветер с Гудзона*  
*Антология современной  
русской поэзии Америки*
- *Александр Бушковский*  
Как сплести канатик  
*Рассказ*
- *Юрий Каграманов*  
Призрак Закона

7'2014

*Алие Алиева*

## Очерки былой и теперешней жизни крымской татарки из Узбекистана

### *Кое-что о моей семье...*

Моя мама точно знала, что ее, свою старшую дочь, отец назвал Урие (от татарского Уриет — свобода, благородство) в честь революции. Следом родились ее сестры Эдие (от арабского ид — праздник) и Инает (тоже от арабского — милость, благодать).

По молодости я не очень любила слушать, отсюда отрывочность воспоминаний. Припоминаю, что отец мамы — Умер, будучи высокого роста, служил солдатом в охране дворца в Ливадии. И даже видел самого государя императора с семьей. Его знакомство с будущей женой было вполне традиционным. «Селекцией» занималась женская половина его родни. Смотр устраивали в бане, так было сложнее скрыть неявные физические недостатки. После вердикта можно было увидеть суженую где-нибудь на посиделках, затем приступали к официальной части сватовства.

Почти так же женили старшего брата моей бабушки. С той лишь разницей, что показали ему младшую сестру, а женили на старшей. Жену он не любил до последнего дня своей с ней долгой жизни. Прижили они пятерых детей. Трое мальчиков, как на подбор, ходили на красавца-отца, девочки пошли в дурнушку-мать.

Мой дед Умер унаследовал от своего отца скотобойню. Раскулачивание в 30-х годах коснулось деда напрямую. Скотобойня стала основным доводом для его «перевоспитания» на строительстве Беломорканала. Бабушка осталась с тремя детьми на руках: старшей — девять, младшей — пять. Как жена кулака она была лишена всех гражданских прав, и главное — права на работу.

Только протекция земляка, служившего в прокуратуре, помогла ей устроиться санитаркой в больницу. Вспоминала, как завхоз, перечисляя ее обязанности на день, заканчивал неизменным: «А время останется — вымой окна». Была

---

*Алиева Алие Сафетовна*, крымская татарка, родилась и живет в Андижане. Закончила иностранный факультет Самаркандского госуниверситета, где получила специальность филолог, преподаватель французского языка. Около 40 лет работала в Андижанской областной библиотеке им. Бабура. Почти все литературные опыты Алие Алиевой имеют автобиографический характер. «Это — не исповедь и не мазохистские исследования собственной души, — объясняет она, — это просто попытка рассказать о жизни через индивидуальное восприятие».

очень набожна, каждое утро совершала намаз и читала (на арабском) Коран. На русском могла вывести только свое имя: Шашне. Знала ли она русский? Не знаю, мы общались на крымско-татарском.

Как человека помню ее плохо. Нелюбовь к моему отцу она перенесла и на меня. Во сне я видела ее единственный раз — перед смертью мамы. Но даже во сне помнила, что она меня не любит. Бабушка ходила согбенная, опираясь на палку, в шали, случайно прихваченной из дома в холодную майскую ночь депортации 44-го. Запащенный уголок этой шали так и не отстирался. Это была крымская грязь.

Зарплаты бабушки хватало лишь на то, чтобы жить впроголодь. Брат ее мужа давал им продукты только в обмен на немногие оставшиеся у них вещи. Правда, разрешил племяннице, моей маме, погостить у него какое-то время. Мамой особо не занимались. Завелись вши, и ее обрили наголо. Так мама впервые потеряла свои длинные, до колен косы. Второй раз, когда ей было уже семьдесят, в роли экзекутора выступила я. Мыть такие волосы было тяжело. *«Режь!»* — решительно сказала мама. О дяде вспоминала, глядя, как я нарезаю хлеб: *«Так же тонко, как и он»*. И заключала: *«Жадный был, очень»*. И еще с отвращением вспоминала о бочонках с засоленной рыбой в его подвале. В ее семье рыбу не ел никто, просто не могли. *«Даже во время голода»*. Голод унес их младшую. Умерла от туберкулеза.

На чудом уцелевшей фотографии 30-х бабушка снята с не похожими друг на друга дочерьми. Они были разными во всем. В маме — нечто утонченное, в Эдие — чувственное. *«Господи, — вздыхала бабушка, — и в кого она только пошла?»* В довоенном Крыму остались ее отличные отметки, первое место на конкурсе песни (была даже фотография на обложке журнала) и несостоявшийся жених, ставший семейным анекдотом. В самый разгар сватовства он спросил свою мать: *«Мама, можно я пойду пописать?»*

На маме как старшей был весь дом. Ей удалось закончить только начальную школу. Видимо, были способности к языкам: владела русским (писала, как слышала, смело употребляя латинские буквы). Во время оккупации Крыма заговорила по-румынски и по-немецки.

Папа с мамой познакомились на танцах, в 37-м. Ей было 17, он — на десять лет старше. На браке настояли ее родные. *«За ним — как за каменной стеной»*. Так оно и было. Какое-то время мама работала на вышивальной фабрике. Но недолго. Самый большой стаж в ее трудовой жизни — несколько месяцев на одном месте. Ревнуя, папа «увольнял» ее отовсюду. Позже, уже в 70-е, работая вместо нее дворником, «заработал» ей пенсию.

Моего деда по отцовской линии звали Али. В Бахчисарае он имел свою кофейню. Отсюда и прозвище «каведжи Али», то есть Али — владелец кофейни. Фамилий тогда не носили, они пришли вместе с русификацией. Тезок дифференцировали по имущественному положению, физическим недостаткам и тому подобным признакам.

Самый богатый человек деревни Биели владел двадцатью гектарами садов, на которых вместе с наемными работниками трудились старшие из его детей. Жена родила ему восьмерых, но в живых осталось только шестеро: трое мальчиков и три девочки. Старшего, моего отца, назвали Сафет (от арабского Сабит — стойкий, твердый). Был он рыжеват, с глазами редкого янтарного цвета. *«Круглый год мы ходили в налынь. Кожаную обувь купил себе уже в городе», —*

рассказывал папа. Нальынь представляли собой деревянную подошву, на которой крепился ремешок, прижимавший к ней стопу. Именно такую обувь, напоминающую японские гета, папа сделал мне в детстве. Летом ходить в ней было сплошным удовольствием. А зимой... Но дед жил так, как испокон веков жили до него.

Он спас свою деревню от страшного голода в 20-е. Все остались живы. В период коллективизации односельчане его раскулачили. Деньги в банке были конфискованы, земля — национализирована. Все, чем он владел, осталось в его родной деревне. На телегу с лошастью погрузили младших детей и какие-то пожитки. Уехали навсегда и в никуда.

## Папа

Я не знаю, как и когда они очутились в городе. Устроиться на работу папа сумел только после того как официально, через газету, отказался от своих родных. Это решение было принято на семейном совете. По-другому было не выжить. В реальной жизни сын за отца отвечал. Все, что он зарабатывал, тайком переправлял родным. Если бы об этом узнали, а доносы были нормой, наверняка лишился бы работы.

Мастер-немец обучил папу столярному делу. Вскоре он работал по самому высокому разряду. После войны, уже в Узбекистане, он так и не сумел официально это подтвердить (все архивы сгорели во время войны) и здесь работал плотником. Сидящим без дела я вообще его не помню. После основной работы «одевал» дома: делал полы, потолки, окна, двери... Все было сработано на совесть. Усто — по-узбекски «мастер» — уважительно называли его узбеки. Умел многое: стриг, чинил обувь, ремонтировал электроприборы...

В тридцатые годы будущих студентов вузы набирали среди передовиков-рабочих. Так папа стал студентом Качинского летного училища. Прыгал с парашютом, совершал самостоятельные полеты. Донос земляка о кулацком происхождении положил конец его карьере летчика. Но небо он всю жизнь любил самозабвенно. Всегда провожал и встречал меня в аэропорту, несмотря на мои протесты. Уже после его смерти я нашла среди документов парашютный значок.

Благодаря отцу я знаю несколько венгерских слов. Говорить на венгерском, также как на русском и румынском, он выучился во время войны. На войне был с 24 июня 1941 по сентябрь 1945 года. В августе 41-го недалеко от деревни Малаеш попал в окружение. Их эшелону, направлявшемуся на Бессарабский фронт, так и не успели выдать оружия.

Попал в лагерь для военнопленных Турнумугарель на территории Румынии. «*Вшей с себя собирал горстями. В туалет ходил раз в десять дней*». В конце марта 1944-го этот лагерь был освобожден Красной армией. Папу направили на 2-й Украинский фронт. В составе своего первого батальона (572-й полк, 233-я дивизия) он форсировал Дунай с территории Югославии, в направлении на Бездай. Батальон стал живой подсадной уткой. Сразу после переправы они попали под немецкую бомбежку. В этой мясорубке уцелело пять человек. Их взяли в плен, окружив шестью танками, солдаты власовской армии. Так он

вновь оказался в лагере для военнопленных, что находился в какой-то деревне в трех километрах от Капошвара (Венгрия).

Позже, в ответ на свой запрос, я получила справку из архива о том, что Алиев С. Б. погиб при форсировании Дуная. В лагере его, рыжеватого, с типично «еврейским» носом, чуть было не расстреляли немцы, приняв за «jude». Выручили земляки — татары.

В марте 1945-го в три часа ночи лагерь эвакуировали в течение пятнадцати минут. Около двадцати человек сумели спрятаться. Части Красной армии только на третьи сутки освободили уже пустой лагерь. Оставшихся в живых проверял особый отдел. Практиковались ложные расстрелы. *«Когда меня поставили к стенке, мне было уже все равно. Так измучили меня допросы»*. До конца жизни отец не мог смотреть фильмы о войне.

Его память меня поражала. Уже в перестройку крымские татары стали требовать возвращения на историческую родину. На всякий случай шла проверка достоверности фактов их участия в войне. И папа в свои 78(!) лет вспомнил все даты, номера частей, топографические названия. Я сверяла последние с географической картой тех мест, где он воевал. Все оказалось точно.

Победа застала его в городе Санкт-Пельтен, где команда в десять человек охраняла лагерь французских и итальянских военнопленных. В Хирово, в Польше, находился советский «фильтровочный пункт». Здесь ему выдали документы и отправили в Узбекистан. Видя его недоумение, издевательски объяснили: «Вашему народу, так пострадавшему во время войны, решили дать отдохнуть в Узбекистане». По приезде отца в кишлак, где уже жили его родители, комендант по спецпереселенцам отобрал у него документы, заявив, что они ему больше не понадобятся. Подвалы ГБ он знал не понаслышке. Били, требовали признаться, на какую разведку работает.

Советскую власть отец ненавидел, что мне, пионерке, внучке двух кулаков, было абсолютно непонятно и чуждо. Доходило до абсурда: «болел» исключительно за соперников СССР. Систематически слушал «голоса», мало что понимая в силу плохого знания литературного русского. Помню его признание: *«Воспользоваться возможностью остаться мне и в голову не приходило. Ощущение дома пришло, как только пересекли границу с Польшей»*.

Моя продолжительная переписка с военными ведомствами по восстановлению его статуса участника войны ни к чему не привела. Только в 1980-м, после обращения в редакцию газеты «Красная Звезда», папе выдали долгожданное удостоверение.

## Мама

Судя по рассказам мамы, вначале румыны, а затем немцы вели себя в Крыму по отношению к местному населению довольно корректно. А вот евреи и цыгане расстрелов не избежали. Большинству цыган удалось спастись лишь тем, что они выдали себя за татар. В период депортации их и выслали как татар, вместе со всеми. Греков, болгар и «русских немцев» эта участь постигла раньше всех. Они были высланы в канун войны. Сами татары распознавали цыган мгновенно. *«Фараунлар, — называла их мама по-татарски. — Фараоново племя»*.

Из рассказов моей старшей сестры: *«В самом начале войны моя мама*

*работала в столовой. Мне тогда было около трех лет. По Карасубазару шла колонна военнопленных, наших матросов. Запомнилось, что все были в тельняшках. Раненные, в крови. Мы с мамой стояли на обочине, у нее два ведра с едой, а у меня какой-то мешок с хлебом. Это все мы раздавали тем, кто проходил мимо нас. В одном из матросов мама узнала своего двоюродного брата-моряка».*

Сколько времени деда Умера «перевоспитывали» на строительстве канала, не знаю, но к началу войны он уже был со своей семьей. Выжил только потому, что в первый же день, когда их построили в шеренгу и спросили: «Кто работал поваром?», он сделал шаг вперед. Хотя готовкой никогда не занимался. И еще одна история от деда, которую мне пересказала мама. «*Счастье?* — переспросил моего деда сосед по нарам. — *Я — дома. Уочага, освещенная отблесками пламени, в вишневом бархатном платье сидит моя жена, и в доме пахнет занесенным с мороза бельем*». Сосед по нарам умер там же, на строительстве. Дед домой вернулся, но стал сильно пить.

В их небольшом домике жили на постое вначале румыны, затем немцы. Пользуясь их незнанием языка, дед поносил их как только мог. И наконец нарвался. Офицер-румын ответил ему на чистейшем крымско-татарском: «*Вы думаете, что мы здесь по своей воле?*» Румын оказался этническим татаринном. К счастью для дедушки, все закончилось благополучно.

*«Дедушка, — вспоминала сестра, — никогда не оставлял меня одну дома. Вместе ходили за хлебом. Он нес меня на закорках. Помню, как попали под бомбежку, и осколок бомбы задел мне висок. Сейчас понимаю, что по касательной. Лечил меня немецкий врач. Он мне показывал фото своих детей. И чтобы я не хныкала при перевязке, давал шоколадку и называл меня gutes Madchen, хорошая девочка. А шрам на виске так и остался».*

В 44-м Крым был освобожден советскими войсками. «*В соседнем доме всю войну прятали девушку-еврейку. Когда в город вошли наши войска, она, радостная, выбежала из дома и попала под колеса грузовика. Умерла сразу же*». В апреле власти провели перепись населения. Мама сопровождала военных как переводчица. Один из них ей явно симпатизировал. В ночь с 17-го на 18-е мая каждый дом был окружен автоматчиками. Во избежание беспорядков мужчин тут же отделили от женщин и детей. На сборы дали двадцать минут. Из домов выносили даже лежачих больных.

Узнав в одном из военных своего знакомого, мама высказала ему все, что думала. Он ответил, что был не вправе предупреждать кого-либо. Ей разрешил вернуться в дом вместе с отцом и взять что-нибудь из вещей. Прошло чуть более часа, а дом был уже разграблен соседями. Всех загнали на грузовики. Люди были уверены: их должны расстрелять. Скорей всего там, где немцы расстреливали евреев. Но грузовики, не останавливаясь, проехали дальше. На вокзале уже были готовы товарные составы. Благодаря тому же военному, семья мамы попала в товарняк, идущий на Урал. «*Там — промышленность, — сказал он маме, — там вам легче будет выжить*».

Так они оказались в поселке Боровск Соликамского района. И мама, и ее сестра знали русский; их оставили работать на бумажном комбинате. Те, кто не знал языка, валили и сплавляли лес. Там и гибли: кто на лесоповале, а кто на Каме.

На Урале Надя, сестра мамы, жила отдельно. Метаморфозу имени объясняла тем, что не хотела для себя судьбы младшей сестры отца, в честь которой была

названа. Та, Эдие, покончила жизнь самоубийством. Тетя Надя крутила романы с двумя одновременно: с сероглазым пермяком и с темноволосым румыном. Когда пришел вызов от моего отца, бросила их обоих и уехала вместе со своими в Узбекистан.

Папа сумел отыскать свою семью только в 47-м. Вызов от него пришел незадолго до смерти деда. *«Посреди барака стоял стол, на котором лежал длинный мертвый дедушка»*. Из двух стаканов муки, купленных мамой, приготовили юфак аш, мелкие пельмешки в бульоне, для поминального стола. Помянув, на сорок первый день собрались в дорогу. Ехали долго. Посевы хлопка, увиденные из окна вагона, приняли за фасоль.

Вначале жили в кишлаке. В город удалось переехать только с помощью Надиного очередного кавалера, занимавшего весьма важный пост. Место проживания было своеобразной резервацией. Без разрешения коменданта передвигаться с места на место запрещалось категорически. Вновь прибывших добивали голод и инфекционные болезни. У мамы обнаружили тяжелейшее заболевание кишечника. Папе удалось спасти ее. Все его заработки уходили на ставшую панацеей слегка прожаренную печень.

С Урала она привезла артрит суставов. В 50-е всех, кто не работал, сгоняли на сбор хлопка. По домам ходил управдом, для которого чудовищно распухшие колени моей мамы не были аргументом.

Через некоторое время, выйдя замуж, Надя родила мужу-узбеку светловолосую сероглазую девочку. *«Представь себе, ни я, ни бабушка, мы даже не догадывались, что она была беременна уже на Урале»*, — удивлялась мама. Бабушке с мамой Надя по секрету призналась, что это дочь румына. *«Аллам (Господи — по-татарски), но ведь ребенок — точная копия пермяка»*, — недоумевала мама. Однако в романтическую Надину схему любви румын, видимо, вписывался лучше. Позже ее дочь получила отчество от имени румына. Жизнь для моей тети была сплошным праздником. Своего единственного ребенка, еще в пеленках, скинула на руки бабушке. Брошенные и даже, случалось, обворованные ею мужья продолжали ее любить и надеяться на возвращение.

Работала официанткой и тратила казенные деньги, как свои собственные. За что и сидела. Обожала работать на публику. На последнем суде громогласно сказала моей маме: *«Передай дочери, пусть продаст фамильные бриллианты!»* Никто из нашей семьи ни о каких бриллиантах слыхом не слыхивал. *«Все, что было ценного, мы снесли в Торгсин во время голода»*, — рассказывала мама.

Вдохновенно врал. Маму это ее «своеобразие» злило чрезвычайно. Их редкие встречи заканчивались ссорами. Любила широкие жесты: «набеги» совершала только с друзьями и подругами, которые неделями обитали в нашей одной комнате. Благо, лето длилось почти девять месяцев. Ночевать можно было и под открытым небом. Разыскала, привезла и оставила на маму парализованного дядю, того самого жадного брата их отца. Только через полгода родная дочь перевезла его к себе.

Наша семья жила скученно, вчетвером (к тому времени уже появилась я) в одной комнате. Большой байский двухэтажный дом с балаханой — открытой галереей был поделен на отдельные комнаты-«квартирки». Удобства — во дворе, баня — в десяти минутах ходьбы, вода — через дорогу. Все принималось как должное, роптать не было принято. Уже к концу 60-х балахану было решено

снести. Так мы трое, уже замужняя сестра жила отдельно, получили однокомнатную квартиру.

Бабушка с моей двоюродной сестрой ютились в пристройке к этому же дому. Жили очень бедно, бабушка могла дать внучке только свою любовь и какие-то крохи денег. «Принцесса в обносках», выросшая красавицей, так и не простила матери ни своего сиротства, ни своего нищего детства. Та доживала свои страшные дни старого и очень больного человека в полном одиночестве. Хоронили ее чужие люди, которым досталась ее квартира.

В последний свой приезд к тете я вдруг заметила их с мамой сходство: те же тонкие черты лица, изящная линия носа и манера складывать маленькие кисти рук. Их дед был в родстве со знаменитым крымским разбойником Алимом. Возможно, поэтому мама так и не сменила свою фамилию на папину. Любила читать и смотреть телевизор, свято веря в правдивость всего увиденного на экране. Мужественно высидела от начала до конца «Цвет граната» Параджанова. Папа, по его собственному признанию, прочел только две книги: Букварь и «Легенды и сказки Крыма».

Я всегда думала, что внешне пошла в материнскую родню. Я похожа на маму, а мама — на бабушку. Как-то двоюродный брат отца стал меня пристально рассматривать. Заметив мое смущение, сказал: «*Смотрю на тебя, а вижу мать твоего отца*». Меня это удивило. Дядя покачал головой: «*Ты — ее копия*». Может быть, именно поэтому я была папиной любимицей. Сказывалась и разница в тринадцать лет между старшей сестрой и мною. Она выросла без него. Папа помнил трехлетнюю малышку, а встретился с уже девятилетней девочкой.

Своим высшим образованием мы обе обязаны в первую очередь папе. В ответ на выпад зятя об отсутствии приданого у его дочери он ответил: «*Ее приданое — образование*». Даже в начале 60-х существовал негласный лимит на прием крымских татар в вузы. Поступление безусловно одаренной старшей дочери в медицинский институт стоило папе бесплатных плотницких работ в огромном новом доме. Содействие доброго папиного знакомого, не взявшего с него за это ни копейки, позволило уже и мне поступить в университет.

«*Ты помнишь дом, в котором мы жили? Так вот, он мне приснился*». Крым жил в снах моих родителей. Там осталась их жизнь. Уже потом, в 70-е, в родном городе папы Бахчисарае, им, узнав, что они татары, отказали в гостинице. В Карасубазаре в их доме жила бывшая соседка. Встретились, всплакнули. «*Свою кофемолку я узнала сразу же, как только увидела*», — рассказывала мама.

Возвращение на родину стало для отца *idee-fixe*. Переехать самостоятельно, даже после того как в перестройку были сняты все препоны, было сложно. Переезд требовал огромных материальных затрат, мы же всегда жили бедно. Папа забросал письмами (писала я и страшно это дело не любила) все официальные инстанции Крыма. Добился, чтобы его поставили в очередь на казенную квартиру. После развала Союза все эти хлопоты сами собой забылись.

Уже после смерти родителей, в апреле 1999-го, я увидела во сне, как мама что-то втолковывает папе, а он отмахивается: «*Все суета сует...*» На следующий день я получила письмо на его имя из мэрии города Белогорска (бывшего Карасубазара, где они жили до войны). Согласно изложенному, папа должен был до марта того же года получить украинское гражданство. В противном случае его снимут с перерегистрации в очереди ветеранов войны. «*...и всяческая суета*».



В Крыму, до распада Союза, я была один-единственный раз. Полуостров был мне чужим. В Узбекистане с вопиющими случаями бытового «расизма» сталкиваться, к счастью, не приходилось. Хотя фразу «Ты хоть и татарка...», причем от матери своего лучшего русского друга, услышать довелось. Помню сделанное на пятом году обучения в университете признание подружки, с которой учились и жили душа в душу: «Есть нация, которую я терпеть не могу — крымские татары!» И на мое недоуменное: «А как же ты все это время со мной общалась?» ее паническое: «Ты — крымская татарка?!» Что не помешало нам дружить и дальше. Первое, о чем предупредили моего приятеля-француза, приехавшего работать на одном из совместных предприятий: «Старайтесь не общаться с крымскими татарами — коварные люди».

Задуматься о том, кто я, заставили меня события 2 мая 1990 года. В тот вечер я возвращалась из гостей. Автобус остановился посередине дороги, так как проезжая часть была перекрыта народом. Светофоры стояли со свернутыми «шеями». «Это недовольные болельщики хулиганят», — прокомментировал кто-то из пассажиров. На площади масса возбужденных людей пыталась разбить камнями окна хокимиата (мэрии).

Стало не по себе, когда два подростка указали на меня, возбужденно приговаривая по-узбекски: «Урус, урус» — русская, русская. Масла в огонь добавил случайный прохожий, посоветовавший мне «побыстрее убежать отсюда» во избежание изнасилования (было употреблено нецензурное выражение). На что я высокомерно ответила: «Я здесь родилась, это моя родина, и я не собираюсь убежать!» Хотя уже поняла, что мне, чужеродной, явно грозит опасность. До сих пор не знаю, как я дошла тогда до своего дома, находившегося всего в пяти минутах ходьбы от того места.

Здесь была только часть толпы. Основная лавина шла целенаправленно громить армянские и еврейские кварталы. На проспекте, по которому она двигалась, хватало домов, где жили не только узбеки. Кое-где были выбиты стекла, но не более. Мою приятельницу, которая случайно в это время возвращалась домой, никто и пальцем не тронул. Петардами взрывались будки «Газированная вода», горели, потрескивая, мастерские сапожников, которые поджигали по маршруту следования. Их владельцами традиционно были армяне и евреи. Это был хорошо спланированный погром. Людей выгоняли на улицу, их дома грабили, а затем поджигали. Были редкие случаи изнасилования. Варварская акция преследовала другую цель: липкий страх физического уничтожения должен был согнать с насиженных мест людей, которые возомнили, что это и их родина. Сразу после событий начался массовый исход. Моя записная книжка напоминает кладбище, где вместо надгробий — адреса и телефоны старых друзей и знакомых.

Весь наш огромный дом, расположенный вдоль дороги, девяносто процентов жителей которого были узбеками, затаившись, темнел окнами всю ту страшную ночь. После полуночи та же толпа хлынула обратно уже по нашей улице. Движение не прекращалось до трех-четырех часов ночи. Стражи правопорядка появились только на следующий день. Улицы опустели задолго до введенного комендантского часа — люди боялись выходить из дому. В официальную версию о вандалах — футбольных болельщиках не верил никто. Я запретила себе бояться где-то на третий день. Мои родители жили с этим страхом всю свою жизнь. Мне, не в пример им, досталось совсем мало.

### *Мой Андижан. Мгновенная фотография*

Если в «12 стульях» Ильфа и Петрова «в уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вижиталем и сразу же умереть», то в среднестатистическом городе бывшей туземной окраины России, судя по количеству колледжей, столовых, аптек и банков, люди учатся, непрерывно едят, лечатся и занимают деньги.

Первым плодом нашей независимости стала полная независимость граждан от информации. И это не было чьим-то злым умыслом. Развал Союза, введение своей валюты привело к такому взлету цен на российскую периодику и книги, что они стали предметами роскоши. Купить то или иное издание могут позволить себе немногие; отсюда невиданная популярность еженедельных журнальчиков с телепрограммой, издаваемых на плохой бумаге, но зато скачивающих информацию из российских изданий, зачастую желтых. Хорошая литература в силу своей дороговизны и оттока основного своего читателя в страну почти не завозится.

По количеству вновь выстроенных колледжей с почему-то готическими окнами «мы впереди планеты всей». Другое дело, что в них преподают все те же преподаватели старой закваски. Дети в своей массе весьма малообразованны. Зато их отличает необыкновенный интерес к английскому языку, который они зачастую считают, опять-таки в силу малограмотности, единственным иностранным языком в мире, все сведения о котором собраны в одну «Английскую книгу».

Переход с кириллицы на латиницу привел к тому, что для сегодняшнего молодого поколения оказался недоступным целый пласт национальной культуры, созданный за годы советской власти. А заодно с ней и мировой, также изданной на кириллице. Одним из веских доводов в пользу перехода было то, что весь просвещенный Запад благоденствует именно благодаря своей письменности.

Наша повседневная узбекская мода долгое время была весьма и весьма консервативна. Речь идет о провинциальных городах. Ташкент в силу своего статуса всегда стоял особняком. Долгое время модели, основываясь на традиционном стиле одежды, лишь слегка видоизменялись — на уровне деталей, не более.

Если в нашем жарком климате, с его яростным солнцем, даже темные очки были принадлежностью либо иностранцев, либо местного европейского населения, то что уж говорить о шортах. Брюки на особах женского пола, коротко остриженные волосы, одежда без рукавов, дамские шляпки, бермуды на подростках — все это стало нормой благодаря телесериалам.

Но самый большой прорыв сделала звезда нашей эстрады Юлдуз Усманова. «Узбекская Мадонна» смело нарушила все установленные правила и каноны. Она была первой во всем: самые разнообразные стрижки и немислимые цвета волос, татуировка на плече, гардероб, в котором с роскошными вечерними платьями соседствовали джинсы в обтяжку с топом, оставляющим голым(!) пупок.

Правда, одевшись в меру экстравагантно, ждатель российского безразличия к

себе со стороны прохожих не стоит, мы — Азия, пусть и Центральная. Плюс в том, что бесполой себя не чувствуешь.

В еще советскую бытность в библиотеку позвонил некто, попросивший к телефону Гулю. «Какую именно? — поинтересовалась я. — Гуль у нас много». Немного поразмыслив, мужчина ответил: «Бландинк!» Сегодня, если в толпе вы заметили блондинку, то на 99,98% это просто модница, а никак не представительница европейского населения. Блонд — самый востребованный цвет, может, еще и потому, что многие меняют географию проживания.

Пешеходов уже не удивляют молодые девушки и женщины, уверенно чувствующие себя за рулем личных автомобилей. Говорят, мы умудрились попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» по количеству маршрутных такси, бороздящих просторы нашего города по всем направлениям и в любое время суток. Память об ином общественном транспорте хранили только те наши сограждане, что родились до 1991 года. Однако все течет... На радость ликующим горожанам, из небытия возник общественный транспорт в виде турецких автобусов. Цена за проезд в маршрутных такси сразу же понизилась, и появился выбор.

Правда, проблемы с газом, водой и электричеством все те же. Самая верная примета приближающейся зимы — полное отсутствие газа в квартирах. Веерное отключение газа и электричества приметой быть не может — это обычные будни.

### *Мы — русские какой угодно национальности*

Перейдем к более высокой материи. Зададимся фундаментальным вопросом: что представляют собой в XXI веке русские, живущие вне пределов своей исторической Родины, в частности в наших краях? Попробую ответить на него с точки зрения простого обывателя и «со своей колокольни».

Ни для кого не секрет: развал Союза и движение к национальной независимости повсеместно привели к тому, что поток мигрантов стал расти, как снежный ком. Если говорить конкретно об Узбекистане, то оттоку в немалой степени способствовали, во-первых, «Закон о языке», затем «Закон о гражданстве», не последнюю роль сыграли вынужденное переселение турок-месхетинцев и майские погромы 1991 года в Андижане.

Мало кто из русскоговорящих, живших в то время в Узбекистане, мог хотя бы сносно изъясняться по-узбекски. Да и нужды особой в этом не было. Почти все окружение понимало и говорило на русском. Дети ходили в садики с воспитателями, говорившими по-русски, в русские школы, потом — в вузы. Уроки узбекского в школе особого восторга у учащихся не вызывали, так же, впрочем, как и уроки никому бывшего не нужным иностранного языка.

Первой страшилкой стало возведение узбекского в ранг государственного языка, на котором отныне должно было вестись делопроизводство. Отметим, что эти драконовские меры оказались таковыми только на бумаге. До реализации закона оставалось еще много лет сносного существования русского языка.

Процедура принятия гражданства была максимально упрощена: все люди, проживавшие в тот момент на территории Узбекистана и имевшие советские паспорта, автоматически становились гражданами независимого Узбекистана. При этом, в отличие от стран Балтии, никто никому не ставил никаких препон на пути получения гражданства. Обмен паспортов был проведен организованно

и быстро, безо всяких эксцессов. Но вот пункт закона, запрещавший двойное гражданство, добавил масла в огонь миграции. Под эгидой двойного гражданства, особенно в форс-мажорных обстоятельствах, каждый чувствовал бы себя более защищенным. Когда это стало невозможным, выход (в форме исхода) напрашивался сам собой.

Волна массового исхода после майских погромов приводит на память известный анекдот, в котором умирающий старик-татарин (есть вариант — армянин) дает последнее наставление потомкам: «Берегите евреев: с ними покончат — за нас возьмутся». События мая 1991 были настолько страшной и впечатляющей иллюстрацией к этому анекдоту, что основной пик миграции приходится именно на это время. Парадокс заключается в том, что есть люди, которых погромы не затронули вовсе, но которые под знаменем вынужденного переселения оказались в Бельгии, где и живут припеваючи. Если даже «рыба ищет, где глубже...», что уж про человека говорить.

«Дальняя» география была не очень обширной: Штаты, Израиль, Германия, гарантировавшие достаточный для выживания минимум. Учитывая, что Израиль — для евреев, Германия — для немцев, а Штаты — для «избранных» правительством США, в прочие государства надо было еще умудриться попасть. Россия принимала всех, безо всяких условий, но под лозунгом «спасение утопающих», которое, как известно, всегда было делом рук их самих. Отсюда в Россию потянулись те, кто мог взять на себя финансовое бремя переезда или же в какой-то мере рассчитывать хотя бы в первое время на поддержку родственников. Далее идут авантюристы и перекати-поле.

«Невыездными по собственному желанию» стали безнадежные оптимисты, верившие в свое будущее здесь, и те, у кого обстоятельства складывались так, что сорваться с насиженного места в тот конкретный момент было просто невозможно по ряду причин: больные на руках, учеба детей в вузах, предпенсионный возраст... (Последние через определенное время все-таки уехали.) Кого-то удерживала как раз неохота «к перемене мест». Кроме того, была еще одна категория — те, кому не на что, не к кому и некуда было ехать. Словом, одинокие, бедные, сирые и убогие.

Сегодня русский на просторах бывшей туземной окраины России — это чаще всего человек какой угодно национальности, и меньше всего этнический русский.

«В нашем классе, — рассказывала бабушка мальчика, в котором смешалась кровь евреев и крымских татар, — кроме моего внука всего трое русских: Пак Толик, Гарифулин Марат и Арсен Адамян». Тем, кто некогда жил в многонациональном государстве, нет нужды расшифровывать, что речь идет о корейце, казанском татарине и армянине.

До независимости любимой фразой в бытовой ссоре была: «Езжай своя Россия!» Теперь эти слова можно адресовать уже узбекам, зарабатывающим на хлеб насущный в городах и весях Необъятной. Отсюда огромный интерес к русскому языку и стремление выучить его — желательно за несколько дней до отъезда.

Если раньше были русские и узбекские школы, то теперь наиболее верным стало бы определение «школа с обучением на русском языке». В первых классах, переполненных детьми, количество учащихся, не говорящих на русском с рождения, составляет не менее, если не более 80%.

На вступительных экзаменах в вузы отдельно формируются «европейские группы», в которых опять-таки преобладают дети коренной национальности. Такова действительность. Набрать достаточное количество русскоязычных детей не представляется возможным, конкурс здесь намного меньше, и поступить поэтому значительно проще. То, что в основной своей массе в «европейской группе» мало кто понимает русский, никого не останавливает. Все в этом мире имеет цену... На пути получения знаний даже анонимная тестовая система — не препятствие. Хотя знаю многих, кто поступил в вуз без всяких жертвоприношений, именно благодаря тестам.

Если раньше смешанные браки не вызывали ни порицания, ни удивления, то теперь — и в силу оттока людей, и в силу борьбы за чистоту крови — полукровкам сложно найти себе пару. При сватовстве основным аргументом является тот фактор, что родители жениха или невесты тоже не чистокровные узбеки.

Русскоязычные в общей массе населения на улицах и в людных местах встречаются так нечасто, что невольно вспомнишь Гоголя с его «редкой птицей». Понятно, что русская речь звучит все реже. Говорить некому. Опять-таки речь идет о провинциальных городах, а не о Ташкенте, хотя в той же Фергане на русском еще продолжают общаться.

Правда, каждый ребенок нашего дома, идущий мне навстречу, считает своим долгом поздороваться со мной по-русски. Вечерами, слыша ликующее: «Обознатушки-перепрятушки» вкупе с «Море волнуется раз...», понимаю, что это совсем другие игры, хоть и с тем же рефреном.

Для детей, родившихся в годы независимости, русский язык давно чужой. Вот образчик диалога двух братьев-узбеков, находящихся на разных концах длинного дома, стоящего вдоль дороги. Тот, что постарше, лет девяти, надрыгается: «Иди сюда, раздолбай, кому говорю!» Младший, завидев меня краем глаза и решив продемонстрировать знание иностранного, гордо кричит в ответ по-русски: «Нэт!» и, подумав, добавляет: «Блят!»

В старом городе нас, так сказать, абorigенов, принимают за приезжих. Отсюда и намеренно завышенные цены. Философия нехитрая: приезжие русские все как один богатые и не торгуются. Если в мультике длина удава измерялась в попугаях, то свою цену я узнала в пересчете на килограмм брынзы (цена на Новом базаре, где русскоязычного населения больше, не превышает 5600 сумов). У входа на рынок я «стоила» шесть тысяч, по мере продвижения вглубь цена моя росла и наконец достигла рекордной оценки в восемь тысяч! Но старикам, какой бы национальности они ни были, всегда уступят и продадут по сходной цене, понимая, как им сложно выжить.

Увидеть всех, или почти всех русскоязычных еще можно в микрорайонах, некогда сплошь заселенных русскими, или же на русском кладбище в день религиозных праздников. Кладбищенские нищие в лице лели (цыган) истово крестятся, произнося вне зависимости от обстоятельств: «Христос воскрес!» Изредка можно встретить и русских попрошаек: всего один или двое бледных алконавтов на фоне сплошных смуглых лиц.

Что о нас думают? В первую очередь, что когда-нибудь динозавры, то бишь русские, или сгинут или все равно уедут. Отсюда первый вопрос соседей после приветствия: «Квартиру не продаете?»

Наш моральный облик тоже оставляет желать лучшего.

Иду вечером с работы. Сбоку пристроилась девочка лет 10—11. Я ей, видимо, интересна. Идем, беседуя ни о чем, и наконец звучит вопрос:

— Пьете?

— Что пью?

— Водку!

— Но почему я должна пить водку?

— А все русские пьют!

И в тему. Года три как соседствую с семьей, очень, на мой взгляд, европеизированного человека, имеющего свой бизнес в России. В день своего рождения, накрывая стол к приходу гостей, попросила его помочь открыть бутылку сухого вина. Его вопрос оригинальностью не отличался: «Пьете»? На что я робко стала оправдываться. Хотя так о себе думать повода не давала.

Моя приятельница почти всю свою жизнь живет в мире и согласии с соседкой-узбечкой. Дама — пенсионерка, всем, то есть и образованием, и профессией, и некогда солидным положением в обществе, обязана русским, некогда олицетворявшим повсеместно советскую власть. Тост на прекрасном русском по случаю дня рождения прозвучал очень искренне: «Хотя мои соседи и русские...» Слушать дальше мне уже не хотелось.

Явью начинает становиться вековая мечта, воплощенная в анекдоте еще застойных времен, когда полеты космонавтов были всенародными праздниками: отец-колхозник мотыжит поле, подбегает его сын и радостно кричит: «Отец, русские — в космосе!» Отец с надеждой: «Все?» — «Нет, только двое!» — «... твою мать!»

Говорят, что человеку определенной расы первое время все чужаки кажутся на одно лицо. Так, наверное, и все русскоязычное для людей ордерной национальности — на один лад. И если поначалу, слыша в разговоре «а вот у вас, у русских...», пытаешься слабо сопротивляться — мол, и не русские мы вовсе, то в конце концов, не кривя душой, признаешься: «Да, мы — русские!»

---

*Александр Зорин*

## Табгха — далекая и близкая

Мой друг, живущий в Израиле, рассказывал мне, как евреи в уличных стычках доказывают свою правоту. Прежде всего безудержной жестикულიцией, которая крайне редко переходит в контактное действие. В этих крайних случаях противники шлепают друг друга по щекам и, удовлетворенные, расходятся. Друг мой прожил в России бурную жизнь, досуги в основном проводил в ресторанах и пивнушках. В кровавых разборках участвовал не однажды... Ему было с чем сравнить враждебное поведение евреев. Я вспомнил его смешной рассказ, когда оказался на борту «Боинга», готового вылететь из Москвы в Тель-Авив.

Пассажиры заходят в салон, рассаживаются по местам, кто-то задвигает сумку под кресло, кто-то разувается и задвигает обувь туда же. Господин в бороде пытается запихнуть огромный баул в багажный отсек над головой, который значительно меньше баула. Но господин усердствует, толкает руками, головой, мог бы, наверное, и ногами, но — высоко, не допрыгнуть. Своим баулом он теснит вещи пассажиров, занимая их место в багажнике. Господин нервничает, пассажиры тоже, в проходе образуется пробка. Много шума, глаза навывкате. Седой господин, чьи вещи потеснены, наносит удар бороде. Но это не удар, и даже не шлепок по лицу, а короткие и быстрые поглаживания по щекам этого возмутителя спокойствия. Возмутитель на поглаживания не реагирует, но огрызается на крики, вытаскивает, выдирает назад свой баул. Но, кажется, все понимают, что он или сумасшедший или крепко не в себе... И конфликт на этом заканчивается.

Сегодня девять лет, как умерла мама. Знаменательное совпадение: в ее день еду на ее историческую прародину.

Володя Ф. встретил меня в аэропорту. Мы не виделись с ним лет двадцать. Однако друг друга узнали. Он вызвался проводить меня до самой Табгхи, до монастыря на берегу Генисаретского озера. На автобусах гораздо дешевле, чем на такси, которое хотел выслать за мной настоятель монастыря отец Иеремия. «Сто евро, ты с ума сошел, — упредил меня Володя по интернету, — спокойно доедем за сто шекелей». С четырьмя пересадками, с ожиданием очередных рейсов мы

---

*Зорин Александр Иванович* — поэт, автор восьми поэтических книг и трех книг прозы, в их числе «Ангел чернорабочий» — воспоминания об отце Александре Мене. Печатается в отечественных и зарубежных журналах. Давний автор «Дружбы народов».

добрались до Тверии затемно, часам к восьми. Пенсионерам в Израиле скидка на транспорт 50%. Володя берет два билета — за полцены. Водитель спрашивает: «Вам пенсионный, а ему?» — имея в виду меня. «А ему и подавно», — можно было бы ответить водителю. Я старше на несколько лет.

Мне не удалось купить симкарту ни в аэропорту, ни на промежуточных остановках. Звонить в монастырь по мобильному через Москву накладно. Да и не хочется лишний раз тревожить настоятеля, просить о транспорте: от Тверии до монастыря 15 километров. Провожатому моему пора в обратный путь, вот-вот отходит последний автобус в Иерусалим. А мне придется брать такси: 15 километров за те же 100 шекелей. Водитель — молодой араб, хорошо говорящий по-английски. В израильской школе арабы учат и иврит, и английский. Ну, вот и ворота католического монастыря. Иеремия на звонок не отвечает. Забыл, наверное, о госте из Москвы. На звонок в ворота тоже — тишина. Машина не отъезжает, участливый таксист не решается оставить меня одного. Наконец в микрофоне слышится женский голос, и железные ворота со скрежетом ползут в сторону. Лес, овраги, чуть вправо — асфальт, внизу — тусклый свет фонаря. И ни души. Спрашиваю в микрофон: «Куда мне идти?» — «Идите налево», — отвечают. А налево овраг... С моим-то тяжеленным бесколесным чемоданом. Машина уже отъехала. Да, Господи, Ты же меня зачем-то сюда послал... Священник, который рекомендовал меня настоятелю монастыря, сказал, если Господу угодно, ваша поездка состоится. Как Он решит. Ты — решил. И вот я здесь.

Впрочем, я уже был здесь. 45 лет тому назад, когда узнал из Евангелия о чуде умножения хлебов на поляне, поросшей густой травой. И представил себе тогда многолюдное сборище и это место в реальных подробностях. Помнится, оно было не таким, возле которого я сейчас блуждаю.

Тьма египетская, все же нет, не египетская, а — подмосковная, с тусклым фонарем на дне оврага... Но вот показались две женщины, две монашенки. И выяснилось, что это францисканский монастырь, а не бенедиктинский, который мне нужен; тот по соседству. Иеремия на мои позывные по-прежнему не отвечает, но наконец кто-то откликнулся. Привратник, молодой симпатичный парень, впустил меня и показал на трапезную, ярко освещенную и полную народа. Иеремия сначала не понял, кто пришел, а, услышав мое приветствие, всплеснул руками.

Вечерняя трапеза у них проходит в полном молчании, звучит только музыка... За столами кроме священников много молодых людей, волонтеров, как выяснилось позже. Один из них и открыл мне ворота. Телефоны с собой в трапезную не берут. Потому мои звонки к Иеремии оставались безответными. Я не разобрал блюда, которое на столе. Думал, овощи — сейчас рождественский пост, но овощи густо заправлены мясом. Ну, что ж. В чужой монастырь со своим уставом не суйся.

У самого домика, где мне предстоит жить, высокие кусты олеандра, усыпанные цветами. Светится окошко. «She is your neighbor», — это ваша соседка — знакомит меня настоятель с женщиной, чье окошко освещает цветы. Вторая половина домика — моя. Слышно, как рядом дышит вода. Озеро дышит.

Утром я увидел его. Метрах в пятидесяти посверкивало сквозь густые



плавни. Уже поднялось солнце. Далеко-далеко в сонном мареве чапает пароходик, оттуда слышны голоса и протяжная песня. Это первая ласточка с туристами из Тверии — города, спускающегося к озеру по склону горы. Город построил в 17-м году новой эры Ирод Антипа в честь императора Тиберия. Он и имел название Тиберия. И озеро Кенерет римляне переименовали в Тивериадское. После разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году многие евреи переселились в Галилею, и Тиберия на долгие годы стала центром еврейской жизни.

В декабре туристов не много. Два-три пароходика в день покружат вдали, не нарушая еврейской или арабской мелодией девственного покоя. Не нарушают покоя и вертолеты, ведущие за Галанами подробный дозор. Вечером пророкочут в библейском небе, оглядят сверху опасную сирийскую границу и растают, удаляясь в северном направлении. Каждый день, в определенный час.

Соседи мои за столом — немцы, супружеская пожилая пара. Оба профессора математики. Преподаватели в дрезденском ВУЗе. Но уже на пенсии и поэтому большую часть года живут здесь, трудятся волонтерами. «Что же вы делаете?» — спросил я. «Да все, что попросят», — ответила Барбара. И правда, частенько по утрам Люций, ее муж, убирает стоянку машин, подметает, сгребая мусор в большие контейнеры. Барбара помогает на кухне, в прачечной, гладит белье. Или продает сувениры в магазинчике при храме.

Я тоже должен буду часть дня отдавать физической работе. Пока еще неизвестно какой. «Пока отдохайте, — успокоил меня отец Иеремия, — приходите в себя, в понедельник я скажу вам, что делать». В понедельник отец Иеремия выдал мне инструмент: грабли, лопату, кайло, тачку. «Тачка» — немцы почему-то произносят это слово по-русски. Не потому ли, что их отцы, горбившиеся в русском плену на послевоенных стройках, крепко запомнили это пыточное орудие производства, прикипавшее к рукам? И память о нем унесли на родину именно в русском произношении. В любом другом оно теряет изначальный, отягченный гулаговским опытом смысл.

Перед моим домиком большая площадка, метров сто квадратных, когда-то засыпанная гравием, а теперь, сквозь гравий, поросшая травой. Слева ее замыкает огромный разлапистый кактус, справа — кряжистый эвкалиптовый пенёк. Я насчитал на пне более сотни колец. В его недрах живет семейство ящериц, а может быть, и не одно. Они, выныривая из расселин, греются на солнышке, пока я не начинаю свою разрушительную работу. Мне предстоит заменить старый гравий на новый. Где кайлом, где ломиком, подгребая совковой лопатой, к концу своего пребывания в монастыре я наконец выбрал плотно слежавшиеся пласты. И тогда увидел, почему они поросли травой. Под гравием была положена пленка. Но по слегка покатоному склону ее ряды постелены были внахлест навстречу водному потоку. Вода под гравием не скатывалась по ним, а просачивалась под пленку, питала почву и возвращивала остроклювые стебли травы.

Первые дни я не отходил от озера. Сидел, замороженный его тихостью, у самой воды. Ученые считают, что вода обладает памятью. Если да, то, наверное, помнит многое из того, что происходило на этих берегах, когда посещал их Иисус. А гнейсы, громоздящиеся глыбы, которых Он не мог не заметить... Где-то в их каменной глубине теплится Его взгляд.

Вероника и Мириам, моя соседка, пригласили меня на прогулку: подняться на гору Блаженств. Храм на вершине виден издалека, шедевр современного зодчества. К нему мы и направили свои стопы, обутые в крепкие ботсы, пара которых была выдана и мне. Кроме храма там, на горе возведены роскошные палатки — отель, дворцы... Церковь — символический восьмигранник (число заповедей блаженств — восемь), алтарь помещен в середине храма. Молящиеся сидят на скамьях вокруг алтаря.

Галилейские холмы покрыты садами. Огромные валуны сдвинуты в кучи и освободившееся пространство занято деревьями — манго, апельсины, лимоны, банановые леса, укрытые сеткой.

Там и тут стоят насосные агрегаты, перекачивающие воду по трубам, по бесчисленным капиллярам, подведенным к каждому дереву. Вода подается из озера. *Его* озера.

Генисаретская вода питает Израиль более чем на одной трети всей площади. Она поступает не только в городские квартиры, водонесные трубки подведены к корням деревьев. Каждое деревце напоено, ухожено, молодые стволы забраны в пластиковые стаканы, свежие спилы обмотаны фольгой. Забота о человеке начинается с заботы о дереве. И не только фруктовом.

Ежедневная утренняя литургия для меня, мирянина, неподъемное излишество. Вставать в 5 часов... С благословения отца Иеремии я оставил для себя ежедневную вечернюю службу и воскресную литургию. Обязательного для всех правила здесь не существует. Храмовая молитва для мирянина не принудительный долг, а подарок.

В воскресенье вечером, после ужина в гостинице, она же библиотека, собираются священники и гости. Выпить по бокалу вина. Поделиться новостями, почерпнутыми из Интернета. Распечатали коробку шоколадных конфет, которую я привез из Москвы. На многочисленных полках ни одного русского автора. Кажется, что путного, тем более в богопознании, может принести русский язык? А ведь может на самом деле. Наши русские религиозные философы, вышвырнутые большевиками из России, — Булгаков, Бердяев, Федотов, — моим немцам, бенедиктинским священникам, не знакомы.

Мириам, уезжая, подарила мне будильник. «Мне уже не понадобится. Завтра я буду дома, в Дюльсенфорсе. Лишний вес. Лучше вместо будильника еще один лимон положу в рюкзак». Лимонные и цитрусовые деревья растут у дороги к нашему домику. Земля усыпана апельсинами и лимонами. Собирают их один раз в неделю, и многие плоды подгнивают, лежа на рыхлой земле. Грех не подобрать спелый плод.

Она врач, месячный отпуск провела в Израиле, путешествуя в одиночку. Неделю жила в протестантской общине евангелистов, еще где-то, теперь у бенедиктинцев. Сама она баптистка. Здесь, у католиков, не пропускала ни утренней, ни вечерней службы. Причащалась, разумеется. Как и Барбара. Барбара и ее муж тоже протестанты. Барбара активно участвует в службе, в воскресенье читает на аналое Евангелие. Люций бывает в храме редко. Чаще я его вижу с метлой на автостоянке.

Отрадно сознавать, что католики допускают иноверцев к причастию, к

молитвенному общению. В наших палестинах за это сурово наказывают. Как это случилось с иконописцем Зеноном, разрешившим католикам отслужить мессу в своем храме и причастившемся на этой мессе. Зенона, «опоганившего» православный храм иноверцами, епископ Евсевий запретил в священнослужении. Город Тверия, облепивший склон горы, ночью, весь в огнях, похож на огромный лайнер, вот-вот готовый плыть по воде. И снова под вечер над Галанскими высотами кружат вертолеты...

Галаны угрюмые — бурый массив  
с отливом сверкающей меди.  
Тяжёлые головы положив  
на лапы, лежат, как медведи.

За ними, за всем, что таится от глаз,  
За каверзой дикой природы,  
В Библейском безоблачном небе кружась,  
Приглядывают вертолёт.

Природу прицельная зоркость спасёт.  
И так уж без меры изранен,  
Оттуда, с хребтины Галанских высот,  
Простреливается весь Израиль.

Чем выше внимательный взгляд, тем мудрей  
Решаются все передраги.  
В сиреневых сумерках стали темней  
Медвежьих ложбины, овраги.

Храм в Табгхе осаждают туристы. Много русских групп. Перед самым храмом небольшой бассейн с рыбами, наполняемый водой из семи источников, они не иссякают с библейских времен. Рыбы тех же пород, что попадались в сети апостолам: красноперые, толстолобые — эти называются рыбой Петра. На дне бассейна много монет. Отец Иеремия прикрепил табличку на английском языке: «Кормить рыб и бросать монеты не разрешается». Но монет не стало меньше. Иеремия понял, что бросают люди, не умеющие читать по-английски, то есть русские. Тогда он повесил табличку на русском языке: «Хлеб и деньги не бросать» — «Здесь пропущены две буквы, — сказал я ему, — русские могут не понять смысла» — «Допишите», — попросил меня священник. «Вы понимаете, зачем они бросают деньги?» — спросил я его. «Нет» — «Чтобы вернуться сюда снова. Такая примета» — «Это очень вредно для рыб. От хлеба и монет они заболевают».

Нынешний храм Приумножения хлебов построен в прошлом веке на древнем фундаменте византийской церкви, разрушенной землетрясением в VI столетии. В алтаре на полу горбится камень, на котором якобы Христос разложил хлеб и рыбы, насытившие четыре тысячи человек. Рядом византийская мозаика, подтверждающая это чудо. Перед алтарной частью помещены две православные иконы Богородицы и Иисуса.

Впервые войдя в храм на утреннюю литургию, я увидел, что и священники, и миряне, которых было немного, находятся в алтаре. Я не решился присоединиться к ним. Но отец Иеремия настойчиво пригласил меня. Я занял место рядом с Вероникой. Позже, на каждой службе она показывала мне евангельские

и апостольские чтения, которые я открывал в своей русской Библии. Не зная, увы, немецкого языка, я таким образом участвовал в вечерних службах, а католическая литургия во многом сходна с православной и узнаваема.

Раз в неделю приезжает инженер проверять систему подачи воды. Домик, в котором я живу, попросту говоря, является водокачкой. Рядом с моей комнатой бойлерная. Мудреные машины, похожие на ЭВМ старого образца: счетчики, кнопки, разноцветные рычажки. Система иногда пошумливает за стеной, но — терпимо.

Молодой, в белоснежной рубашке араб приветливо поздоровался: «Hello!» — «How are you?» — спросил я его. «Well. And you?» — «Где вы живете?» — «В Тверии, рядом с отелем» — «А вы откуда?» — «Из России» — «Россия... Где это?» — «Знаете город Москву?» — «Да» — «Она столица России» — «О'кей!» — ответил он. «Вы еврей?» — «Нет, я христианин» — «А какая ваша национальность?» — «Национальность? А что это? А, нет, я араб... Я христианин», — сказал он и перекрестился.

Часа два машина будет работать на полную мощность, разговора не получится, я ушел на берег озера, где облюбовал бухточку. Спугнул стаю чирков и кричек. Стремительный чирок вскрикнул, пролетая. Увидел свое место занятым.

\* \* \*

В трапезной подобие шведского стола, чуть, может, поскромнее. Молодые священники, монахи всегда улыбчивы, судя по смачному хохоту за столом, удачно шутят. За обедом шумно, если не сказать весело. А вот за ужином слышна классическая музыка — Бах, Гендель, Шопен. И ни слова, пока не прозвучат колокольчик и благодарственная молитва.

\* \* \*

Капернаум. Руины города, который называют городом Иисуса. Синагога, на месте старой, где проповедовал Иисус, занимает чуть ли не треть города. И вокруг лачуги — стены и фундаменты, — дающие представление о величине жилища горожан. Можно бы их сравнить с ласточкиными гнездами, что лепились к стенам синагоги и вокруг нее. В каком-то из этих крохотных гнездышек жил Петр с женой и тещей, и там останавливался Иисус. Едва ли не такую же площадь занимает протестантская церковь. Она похожа на гигантскую летающую тарелку, опустившуюся на бывший город, не нарушив его останков. Бетонные опоры чуть возносятся над землей эту прозрачную конструкцию, детище иных миров. Хотя опуститься она могла бы не в самом городе, а неподалеку, как, например, православный храм — за пределами Капернаума. В ее настырном присутствии чувствуется дух агрессивного протестантизма.

Сегодня воскресенье, мало туристов, в тени переплетенных веток платана дремлет сторож. Я спустился по скользким камням к самой воде. Отсюда, на

глубину, ныряли, наверное, капернаумские мальчишки. Купался ли в озере Иисус? Умел ли Он плавать? В Назарете, где Он рос, не было большой воды...

И тут меня застал телефонный звонок из израильской тюрьмы, от Алексея Г. Много лет я переписываюсь с ним. Бывший россиянин, он осужден за участие в убийстве. Он был лишь свидетелем, пассивным участником, но вину взял на себя, зная, что, если назовет настоящих убийц, то жить ему останется недолго. Подробностей преступления я не знал, никогда не спрашивал, а он не считал нужным в них посвящать. А тут вдруг прорвало, вывалил весь ужас случившегося с ним двадцать три года тому назад. Он не знал, что я слушаю его в Капернауме. Это было подобие исповеди, безудержного сбивчивого потока слов, длившегося не менее часа. Какая-то неотвратимая, неизъяснимая сила выталакивала их. Как будто я слушал его не один. Незыблемая голубизна воды и неба, отраженного в ней, мягкое теплое декабрьское солнце... и безумие падшего мира. Господи, приди на помощь этому несчастному человеку...

Подъехал белый автобус, набитый, будто семечками, черными туристами. Высыпали на площадь, резвятся, как дети, облепили статую апостола Петра, фотографируются. Кто держится за его жезл, кто за руку, кто прижался сбоку. Улыбаются до ушей, счастливые. Висит на апостоле Петре африканский материк.

Дорога по-над озером в Капернаум — это древняя римская дорога. Разделенная сегодня на пешую и автомобильную. По ней и ходил Христос, проводивший немалое время в Галилее. Пешеходная выложена белым камнем. Через каждый километр столбик с автопоилкой. Сейчас зима, не так знойно, водичка не подается. А в другое время, стоит наклониться к раковине, тотчас же забьет фонтанчик. Неподалеку от города каменный знак, указывающий, что здесь была таможенная застава, где мытарь Матфей собирал пошлину. Чуть дальше — так называемый «камень кровоточивой», место, где Христос исцелил женщину, прикоснувшуюся к нему. Эти и другие памятные знаки сохранились благодаря испанской паломнице Эгерии, побывавшей здесь в конце четвертого века и оставившей свои заметки. Иудеи, христиане Капернаума передавали из поколения в поколение все подробности пребывания здесь Иисуса Христа.

Над дорогой, метрах в двадцати, пещера Эремос, в которой, по преданию, оставался на ночь Христос, когда всходил на гору молиться. С этой горы Он возвестил заповеди Блаженства. Пещера чистая, только очень много стеариновых следов от свечек. Каждый камушек побывал подсвечником. Деревянная скамья отшлифована седалищами, но надписи все же кое-где на ней вырезаны. Из пещеры на простор тянется деревце — худенькое и упрямое. Ему тоже хочется видеть изумрудное озеро, горы, безоблачное небо.

К монастырю я подходил уже затемно. Меня догнал молодой человек и, узнав, что я живу там, спросил, нельзя ли переночевать в монастыре? Случай примечательный. Юноша испанец, лет восемнадцати, путешествует по Израилю. Уверенный, что на улице ночевать ему не придется, он не озаботился ночлегом заранее. И задает вопрос случайному попутчику. До города далеко, да он и не останавливается в гостиницах, дорого, кто-то всегда пускает его на ночлег. Пустили и в монастырь.

В свободном мире человек чувствует себя свободно. И привыкает к этому с молодости. Внучки Барбары, окончив школу, разъехались по миру: одна в

Парагвай, другая в Аргентину. Живут в семьях, помогая по хозяйству — в саду, в доме. Или мальчики и девочки, волонтерствующие в монастыре. После школы они не пошли учиться дальше, не уверенные в своем призвании. Они рассудили, что, может быть, Церковь поможет им найти себя, свое место в жизни. Общество выделяет им, окончившим школу, стипендию на год проживания в любой стране. И они добираются туда без пап и без мам. За год, живя среди людей и трудясь для людей, можно почувствовать свое призвание. И дело не в том, что они владеют английским, понятным в любой точке мира. Они внутренне раскрепощены. Человек моего происхождения и моего возраста в моей стране озабочен на каждом шагу. Поспешая на вокзал к электричке, думает, не изменилось ли расписание, покупая лекарство в аптеке, не уверен, что оно не поддельное. И скорее всего, человек моего возраста деньги в сберкассе хранить не будет, если, конечно, они у него есть. Внешняя стабильная обстановка способствует молодым людям адаптироваться в мире. Ну, а израильская молодежь, которая с рождения взята под прицел террористов? Она мне показалась такой же деятельной и общительной, как мои волонтеры в монастыре. На закате, когда солнце только-только касается гор, на дерево перед моим домом прилетают две горлицы. Не боясь моего присутствия, тихо, без птичьей суеты, по-домашнему устраиваются на ветке.

Непуганых уток стада...  
Копшатся, ныряют, взлетают...  
Летите, летите, пернатые стаи сюда.  
Здесь в вас не стреляют.  
И рыбу не глушат, и зверя не душат капканом.  
Свидетелю нравов иных,  
такое мне кажется странным.  
На камушек цапля,  
ног не замочив опустилась.  
Какая достойная неприступность,  
Скажите на милость...  
В неё на предмет шашлыка  
и по страсти загула  
Поддатый полковник  
Из плавней не высунет дула.  
О чём бы я здесь ни завёл разговор с первым встречным,  
края свои вспомню, которые сравнивать не с чем.  
Мы словно калеки, бывая в ухоженных странах,  
твердим об одном, о родном — о скорбях и о ранах.  
О травмах врождённых, запущенных безнадежно.  
Однако в гостях неприлично скулить. Сколько можно!  
Под вечер на тёплых камнях расселись койоты.  
Уставились все на закат, прочь отринув дневные заботы.

Позднее, после утренней службы, утро. Пустынный берег. Камушки у воды уже прогреты солнцем. Шушукуются волны, переговариваются меж собою. Мягкая вода холодновата, как у нас в августе. Броситься кролем в ее объятия. При взмахе правой руки, поворачивая голову влево, невольно закрываешь глаза от слепящего солнца. На протяжении всей жизни вот так, загребая кролем, я встречался с ним по утрам; в Куйвижи, на Валдае, в Тамани, в Семхозе, в Эгейском море, в Адриатическом — везде, где оно вставало слева над водною

гладью. Быть может, и в будущую жизнь я войду, рассекая земные пределы, и Солнце, но уже другое, не ослепительное Солнце, откроет мои глаза...

А еще раньше, на рассвете, вдруг голоса, шум машины, стук сгружаемых ящиков. Это приехали рабочие собирать оливы. Способ, каким древние греки времен Гомера собирали урожай, практикуется и сегодня. Под деревом расстилают две большие плотные пленки по окружности всей кроны и начинают стегать длинной палкой по веткам оливы. Ягоды сыплются градом вместе с листьями и мелкими веточками. Затем пленки подтягивают к следующей маслине и так же хлещут по ней палками. Обтрусив нижние ветки, верхние обивают с высокой лестницы. Нагруженные пленки подтягивают к пластиковым ящикам, быстро-быстро выбирают лиственный мусор и ссыпают в них ягоды.

Сбор урожая в этом году запоздал. Много ягод уже напало под деревьями. Я спросил пожилого араба, будете ли их собирать? Он ответил одним словом: little. Непонятно, то ли мало напало на землю, то ли немножко будем собирать.

Фермер Абдулла, хозяин садов, сетует на рабочих: обещали давно приехать, а явились только что. Сейчас они нарасхват, диктуют свои условия.

\* \* \*

За трапезой никто не встает из-за стола, ждут последнего. Сегодня заезжая паломница после вечерней молитвы приглашена на ужин. Она, не зная обычая, не спешила с выбором блюда, ела не торопясь, основательно, как делают немцы все, что делают. Все давно отужинали, ждут ее при всеобщем молчании. Минут пятнадцать, а то и более. Только она закончила, священник зазвонил в колокольчик, и все встали, громко двигая стульями, на благодарственную молитву.

Время Адвента, Рождественского поста, сопровождается затейливыми придумками. После благодарственной молитвы читалась вслух смешная история из походов святого Николая. А потом раздавались подарки, мешочки с конфетами, которыми увешано корявое деревце вроде нашей елки, стоящее в углу комнаты. Грядущий в мир Христос уже до рождения одаривает гостинцами всех, кто ждет Его. Каждый придумывает какой-нибудь сюрприз. В следующий раз юноша-волонтер прочитал свое стихотворение на евангельскую тему. Девушка вырезала лобзиком звезды и, разноцветные, разложила по столам для каждого. Вероника рассказывала о земном пути Богородицы. А потом пели Рождественскую песнь Марии — гимн, который знает, наверное, вся Германия. «Не вся», — сокрушенно призналась Барбара. И правда, двое немцев, рабочих из Дюссельдорфа, не пели.

В какой-то день дошла очередь и до меня. «Хочим слушать русскую песнь», — глядя в словарь, обратилась ко мне Вероника. Я понял, что они имеют в виду какую-нибудь праздничную молитву, и пропел Рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсияй миру свет разума!..» Объяснил, что это главная «песня» праздника. Прочел несколько своих стихотворений, посвященных Рождеству. Как мог, объяснил содержание.

«Что у Господа один миг,  
То у нас две тысячи лет.  
К восхищённой земле приник  
отдалённый нездешний свет.

Доли девственные осенил...  
Потому и родился Сын  
Света — семя звёздных высот,  
Чтобы в нас завязался плод.  
Не оставит всхода зерно,  
Если не распадётся в прах.  
Потому и упало оно  
в бездны горя, в бесплодный страх.

Миг тот, тысячелетия для,  
Нам себя дано превозмочь.  
Понесёт или нет Земля,  
Как её пречистая дочь?..

Нет, ещё не взошёл посев.  
Побивает то град, то навет.  
Что у Господа девять месяцев,  
То у нас девять тысяч лет.

В воскресенье никто не работает, даже Люций, профессор математики, исполняющий в монастыре должность дворника. Исполняет добросовестно, как узбек Паша в моем московском дворе. На автостоянке возле монастыря ни бумажки, ни фантика. По воскресеньям на своей машине они с Барбарой и Вероникой путешествуют по Израилю. На сей раз пригласили меня. Предстоит восхождение на плато, откуда видна чуть ли не вся Галилея. Неподалеку от Магдалы (родина Марии Магдалины) свернули к арабскому поселку Хамам, здесь оставили машину.

Гора устрашающего вида, но по высоте не более полутора километров. У самого верха отвесная стена, в которой тысячелетия назад аборигены выдолбили жилища. На такой высоте и неприступности жить безопасней, чем в долинах. Как они, бедные, туда забирались? Что люди! По каменистым крутым склонам пасется скот — коровы, телята. Уверенно ступают меж крупных и мелких камней. На самых подступах, у отвесной стены, в которую вмурованы скобы, толпятся школьники. Не первую группу школьников я вижу в этих краях. Их возят по историческим местам, чтобы хорошо знали свою страну. Мы подождали, пока они, как муравьи, вытянутые в цепочку, не скроются из виду, и двинулись следом. Впереди, неуверенно цепляясь за скобы, поднимается Вероника, крупная женщина. Далеко нам придется падать, если соскользнет, смахнув и меня, как былинку.

Но вот и плато. Густая трава, стадо черных коз: свирепые морды, огромные уши. Древняя порода козлищ, упомянутых Иисусом в притче об овцах и козлах. Внизу с высокой мечети заголосил муэдзин. Его голос, удесятеренный динамиком, увы, не ласкает слух. И здесь, на плато, тоже есть озеро — искусственное, полное дождевой воды. Далеко видны разбросанные по холмам Кана, Магдала, Назарет...

Отец Иеремия вечером встретил меня словами: «В Москве трудный день, уличные стычки». В комнате Барбары есть телевизор. Последние известия



показали многотысячный митинг на проспекте Сахарова. Москва поднялась, нагло обманутая выборами в парламент. Москва поднялась... Поднялась ли?

\* \* \*

Перед храмом во дворике лежат огромные каменные чаши — бывшие давилни для отжимания оливкового масла. Однажды утром я увидел, что они уставлены свечками. Группа паломников внимает довольно странному полуреву-полурьку. Perhaps Greek orthodoxу — пояснила Вероника. Так и есть, наш брат православный. В храм они войти не смеют, молитвенное общение с католиками запрещено, поэтому молебствие проводят рядом. Священник быкообразной (отсюда и голос) наружности, сзади на голове косичка, впереди борода лопатой. Помолившись, достали съестное: бутерброды, пирожные. Священник с большим пирожным отошел в кустики и там, вкушая вкусих, тщательно отряхнул бороду. Трудно уберечься от сравнения внешнего вида православных батюшек и бенедиктинцев — худых, подтянутых, опрятных.

В сувенирном магазине работает женщина-гречанка. Сегодня за столом мы сидели рядом, и я заметил, что крестное знамение она кладет по-православному — справа налево. «Вы православная?» — спросил я ее. «Да», — ответила женщина. «А в какую церковь ходите? Бываете у бенедиктинцев?» — «Разумеется. Я же христианка. Бываю по праздникам и в нашей, которая за Капернаумом. Но она далеко. Я живу в Магдале, машины нет, езжу сюда на велосипеде» — «А духовник ваш знает, что вы причащаетесь у католиков?» Женщина не поняла моего вопроса.

Удивительно: ни одного печального лица. Семейная атмосфера. Хотя мимолетных гостей бывает больше, чем своих. А свои — четыре священника, молодые люди-волонтеры, Барбара, Луций, Вероника и я, затесавшийся в их семью.

\* \* \*

Каждое утро — благотворное общение с тачкой. Часа три отколупываю киркой и лопатой плотный слой гравия. Сваливаю недалеко, под обрыв. Гора старого гравия растет. Я стараюсь разбросать пошире, чтобы зимой ее хорошенько промыли дожди. Послужит еще этот гравий в монастырском хозяйстве.

Работа моя довольно пыльная, после нее надобно хорошенько отмыться. Что может быть чище воды Генисарета! Вхожу в нее, в озеро, как в крещальную купель. Из кустов шумно поднялась цапля. Важная, неторопливо машет крыльями. Грудь выставлена, как у ладьи. Не летит, а плывет.

По-над озером на территории монастыря — несколько молельных площадок. Солнце затеняют бамбуковые циновки, рядами лежат тесаные бревна в виде лавок, посреди площадки — крест. И стесанная под столешницу каменная глыба, на которой священник, служащий литургию, совершает освещение Даров.

Одну такую площадку облюбовали койоты. Большие бесхвостые крысы. Вечером семья этих животных располагается на теплых бревнах. Сидят, почесываются, глядя на закат. На бревнах, на крыше я замечал их не однажды, а на каменном престоле — ни разу.

\* \* \*

Третья неделя Адвента. Воскресная литургия. Храм освещают белые толстые свечи. Зажжены перед иконой Спасителя и Божьей матери. Пылают свечами и паникадило. Витражное окно, как на картине Вермеера, переливается малиновыми и голубыми цветами. Вся служба, насквозь вся, поется. Краски на витражах ликуют, вторят молитвенным песнопениям. Вдруг у открытого окошка появилось облачко. Покружилось, переместилось к другому, снова к открытому и в нем исчезло. Что это было? Дыхание ангельского пения?

После вчерашнего сочного дождя свежо, как в луговой пойме. Птицы, умытые наконец, щебечут на разные голоса. Кусты олеандра обсыпаны бусинами дождя. Солнышко то пробьется сквозь тучи, то снова спрячется за ними. Я успел за сегодня подчистить свой объект, вывез тачек десять последних. Завтра под кактусом (иногда ему, разлапистому, говорю: кактус, не толкайся!) большие камни, что лежали по периметру площадки, соберу в кучу. И можно будет стелить новую пленку. И засыпать новым гравием.

Забегая вперед, скажу, что зимой следующего года монахи прислали мне фотографии площадки, которую я обработал. Сияет белым, как рафинад, гравием и — ни одной травинки, ни одной щепотки зелени сквозь него не пробилось. Я возликовал, увидев плоды своей работы как дань благодарности за братское гостеприимство.

Заглянул отец Иеремия посмотреть, как идут дела. «Я к вам на минутку». Весь в заботах. Монастырь расстраивается: возводится еще один храм, помещения для паломников, конференц-зал. В движениях быстрый, в словах экономный. Улыбчивое светлое лицо иногда вдруг омрачается. Чистый по-детски взгляд и не по-детски пронизательный.

В субботу и в воскресенье в трапезной самообслуживание. Повар Абрахам и его помощница в эти дни не работают. Заранее приготовленная еда достается из холодильника, а посуду моем сами. На кухне тесновато. Один драит посуду щеткой в железном баке, другой ополаскивает, девушки с полотенцами трут до блеска тарелки, блюда, чашки. Их тут же подхватывают и расставляют на полки. Священники тоже участвуют в очистительной кампании. Подпоясавшись и надев фартуки на сутану.

Косточки, остатки мяса я хотел отнести собаке. Нет, сказала Барбара, мясо перченое, собаке вредно.

\* \* \*

Долгая, на целый день, поездка в национальный заповедник, что расположен под Хайфой. Километров 300 туда и обратно. Немцы, мои новые родственники во Христе, любители лазить по горам и снимать на камеру красивые пейзажи. Я думал, эта экскурсия связана с христианскими достопримечательностями. Нет, просто очередной выезд на пленэр. Хотя, конечно же, образцовый заповедник стоит особого внимания.

Сохранилась пещера, огромная, как концертный зал, где жили первобытные люди в доисторические времена. Черные своды и стены прокопчены, наверное, дымом их очага. Здесь установлен большой экран и демонстрируется

фильм о том, как они охотились, разводили огонь, варили пищу, рождались и умирали. Эффект присутствия среди аборигенов обеспечен пультовым управлением.

Тропа из пещеры ведет в горы. Оттуда видны море и пойма, сплошь покрытая сверкающими теплицами. Там на плодородной земле круглый год плодоносят банановые, гранатовые, апельсиновые сады. А рядом с морем — посевные культуры. Не одна Хайфа питается плодами своего идеально выстроенного хозяйства. В нашем продовольственном магазине в Москве на ящике с апельсинами красуется наклейка «Хайфа». Я уж не говорю об израильской моркови, которой завалены московские овощные магазины.

На обратном пути проезжали арабские города. Все горы заселены. Повсюду, похожие на белемнитов, высятся минареты, опровергая пропагандистский миф, будто в Израиле дискриминируют ислам.

В городе Тальяг остановились перекусить. Всюду чисто, многолюдно, открытые магазины, товары вынесены на улицу. У входа в кафе кемарит седовласый араб — в пиджаке и длинной галабее<sup>1</sup>. Угрелся. Солнышко поджаривает его старые кости.

Цивилизованная жизнь. Продавцы говорят по-английски. А мы, стоя у витрины и заказывая лаваш с овощной начинкой, пользовались подсказками мальчиков-арабчат, которые знают и немецкие слова.

И всюду урны для мусора. Не как на московских улицах, где горожане обходятся без подобных услуг.

Знакомые, нашего северного полушария звезды, неяркие при полной луне. Арктур стоял примерно в этом же месте при ногах Волопаса, когда безмолвными ночами смотрел на него Иисус. Темна была и Тверия. А сейчас кажется, что город, как огромный многоярусный теплоход, вот-вот спустится и сойдет на воду, сверкая своими зажженными палубами. К Тверии приложим и другой образ: город на горе ночью — гора, обсыпанная бриллиантами.

Страшно орут койоты. Не такие уж они безобидные, если так орут.

Молодежь сегодня не ужинала в трапезной. Собралась в парке за шашлыками. Отмечают день рождения Марты, которой из дома пришла рождественская посылка. В нее, кажется, влюблен Матвей, юноша из Берлина. Он тоже недавно кончил школу, куда пойти учиться дальше — не знает. И надеется, что время, проведенное здесь, ему подскажет. Я видел, как он управляется с колесным трактором, груженным обрезанными ветками, осторожно, по кочкам выводя его на дорогу. Всю неделю на берегу он корчевал кусты и рубил ветки. Он один из волонтеров. Заведует инструментом. У него ключи от инструментальной будки.

Катера с туристами курсируют по озеру. И не всегда оттуда доносится мелодическая музыка. Бывает и другая — современная рубиловка.

Счастливая встреча, подобно видению, ознаменовала мое последнее утро в Табгхе. Проснулся я раньше обычного, только-только забрезжил свет в застекленной двери, обращенной к озеру. И там, в клубящейся глубине, возникло

---

<sup>1</sup> Широкая длинная, до пят, мужская рубаха.

темное пятно. Оно медленно двигалось. Я быстро оделся и побежал к озеру. Но выйти на открытый берег не решился, стоял в кустах и вдруг понял, что это — лодка. Уже почти рассвело. В лодке было два человека. Один, стоя, выбирал сеть из воды, второй на веслах медленно греб вдоль берега.

Много раз я представлял эту евангельскую картину в воображении. Ведь точно так это и происходило. Раннее утро. Редящий туман бежит по воде... Может быть, даже на этом месте и увидел рыбаков Иисус. Ведь оно было для них самым притягательным, самым рыбным.

Прощай, Кинарет! Гора Блаженств, лазоревое небо, тихая радушная Табгха — прощайте.

Отец Матеуш, отец Захария, отец Франциск, отец Иеремия!..

За неделю до Рождества в Назарете объявлено театрализованное шоу, посвященное празднику. В колоссальный собор Благовещения арабы-христиане набились в большом количестве. Кланами, семьями, меж рядов бегают дети. Начало в 19.00. Но, как правило, праздничные представления вовремя не начинаются. Мои друзья, живущие в Назарете, знают местные обычаи; они пришли в храм на час позже и к началу не опоздали. По их мнению, у аборигенов размыто понятие времени. На производстве — план, механизмы, там работа, там не опаздывают. А в остальном — на полчаса, на час, как заведено.

Церковь Благовещения в Назарете. Гигантский храм, на стенах которого выложены мозаики всех стран мира с изображением Богородицы с Младенцем, или без Него, или с архангелом Гавриилом. Под этим циклопическим сооружением, напомнившим мне здание московского университета на Воробьевых горах, сохранились остатки вроде бы того жилья, где обитали Мария с Иосифом и с Младенцем. Несколько каменных ступенек, ведущих в каменный закуток. Меня не впечатляют эти археологические реалии, подлинность которых недоказуема. Тем более, в этой театрализованной обстановке они похожи больше на бутафорию.

Церковь, посвященная Иосифу, значительно меньше. А еще меньше храм над источником, где якобы деве Марии явился архангел благовестник. Здесь ли он явился или в доме, как пишет апостол Лука, конечно, не столь важно. Я помнил это место по акварели Поленова — ничего схожего. В конце XIX века, когда запечатлел его художник, оно, наверное, мало изменилось с евангельских времен. На склоне горы — горстка белых хижин, у источника женщина с сосудом на голове. Сейчас здесь арабская часть Назарета. Нижний город. Шумный, светливый, базарный. Центральные улицы — сплошной рынок: фрукты, тряпки, ботинки, напитки... Все выставлено на тротуары. Механические зазывалы рекламируют товар. Оравы мальчишек задиристо орут, возятся, толкают прохожих.

И второй Назарет — верхний, ему всего-то лет 15-20. Современная архитектура, строгая, без излишеств. Чисто, тихо, огромные, как ангары, супермаркеты, но их не видно и не слышно. Есть и маленькие магазинчики.

Сереза и Света, у которых я остановился на пару дней, живут в четырехкомнатной квартире. Дети выросли, уехали в Америку. Возвращаться не хотят.

Младший женат на арабке. Расписались на Кипре (в Израиле межконфессиональные браки не регистрируются), а свадьбу справляли здесь, в Назарете. Гостей было более 800 человек. Со стороны мужа, то есть евреев — 30, остальные арабы. Смешанные браки укрепляют израильское общество. К сожалению, их не много.

Четвертая комната в квартире — комната-бункер, комната безопасности. С 90-х годов начали строить дома с учетом бомбового или сейсмического разрушения. Впрочем, сейсмический фактор учитывался и раньше. А теперь, когда Израиль атакуют со всех сторон, в жилое строительство внесено важное дополнение. В каждом доме имеется один сквозной, сверху донизу, сектор №2. Даже если при прямом попадании дом рухнет, комнаты безопасности одна над другой остаются незыблемыми. Они есть в каждой квартире. Личное бомбоубежище. Сережа и Света отсиживались в нем при последнем обстреле Назарета.

Приехали они сюда из Литвы в середине девяностых, уже верующими христианами. Света со школьных лет не сомневалась, что Бог есть, но верующей себя не считала. В 92-м году, слушая радиостанцию «Благовест», узнала, что можно прочесть о Христе в книге Александра Меня. Диктор сказала: кто хочет ее приобрести, вышлите адрес. И вскоре пришли наложенным платежом две книги: «Сын Человеческий» и «Истоки религии». Прочитав их, Света крестилась, а Сережа, они уже были мужем и женой, над ней подшучивал, опасаясь ее религиозного пыла. Но в книги заглянул. Начал читать... И однажды, придя домой с ночной смены, упал на колени перед женой, прося прощения за свое невежество. Они уже подали документы на выезд. И здесь, в протестантской общине он крестился.

Вечером город похож на уютно освещенный парк. Стайка детишек лет 10-14 попала нам на пути. Город на горе, поэтому дома спускаются ярусами. Мы подходим к детям, они кричат тем, что внизу, на нижней площадке: «Подожди, не бросай, пусть люди пройдут!» И как только люди, то есть мы, прошли, раздается команда: «Теперь бросай!», и снизу вверх летит башмак под дружный визг и хохот.

Сейчас декабрь, в шесть утра начинает светать, и сразу, по мере увеличения света, гаснут один за другим уличные фонари. На остановке автобуса уже толпятся люди. Есть курящие. Есть среди них и те, что бросают окурки под ноги, хотя урна рядом. «Эти наверняка советского происхождения» — поясняет Сережа.

В нижнем городе, рядом с храмом Благовещения, арабы обнаружили некое древнее захоронение и объявили, что найденные кости, выражаясь по-нашему, мощи святого. А по религиозным законам, на месте захоронения святого должна стоять мечеть. Но израильские власти воспротивились захвату пусть даже клочка земли. К тому же рядом с собором другой святыни. Мусульмане намеревались возвести мечеть выше собора. И все же они это место огородили и собираются за забором на молитву.

На центральной улице, где теснятся торговые ряды, молодой человек вышел из кафе и на виду у всех облегчил себя по малой нужде. Шум, толчея, и он прудит у себя под ногами, рискуя задеть прохожих. Точно такую картину я наблюдал и в Иерусалиме, в старом городе, возле мусульманских торговых лавок.

Первый день в Иерусалиме. Мой провожатый — Володя Ф., у которого я остановился. Он литератор, поэт. Оторванность от русской культурной почвы переживает корнями, потому что корни в ней, и перетащить их куда-либо вместе с почтовым адресом невозможно. Замкнут, немногословен, на вопросы отвечает лаконично. По правде сказать, при такой отзывчивости и задавать их неловко...

Улица Скорби, по которой шел Иисус на Голгофу. Базарный восточный шум, не хочется смотреть по сторонам, а только под ноги, на бугристые каменные плиты. Христос ведь под тяжестью креста смотрел на них, на эти самые булыги... У Гроба Господня очередь, русские набожные паломники, точно такие, как в Троице-Сергиевой лавре. «Прасковья, — зовет здоровенный детина, — иди скорей сюда, вот он, гроб... Здесь все намолито...» У входа в пещеру стоит монах и повторяет беспрестанно по-русски и по-английски: «Выходим», «Come back». И народ выползает, кое-кто задом из почтения к святыне. Я тоже приложился к камню, на котором, может быть, лежало тело Господа, помолился — о своих, близких и дальних, о нашей Церкви, о стране...

В армянском храме нас прихватил священник: «From Russia?» — «Yes». «Помолитесь о Russia?» — предложил он нам и, не спрашивая согласия, потащил на место молитвы у железных дверей. Сам храм был закрыт. Пробормотав что-то по-армянски, он потащил нас дальше, приговаривая «пожертвования, жертвования». Я ускользнул из «пожертвенных» объятий — «thank you, thank you» и — ходу, Володя за мной.

Толпа живописна. Лапсердаки, костюмы с фалдами, шляпы, пейсы — иногда изящно закрученные, как букли у женщин. Белобородые старички — на голове кипа, в руках книжка. С раскрытой книгой многие — дожидаясь автобуса и в самом автобусе.

Вдруг в конце какой-то улочки гремит музыка, и толпа прохожих составляет хоровод, начинается пляска. Искрометная и нескончаемая. Веселые, трезвые, живые люди.

На площади закончился митинг. Народ расходится, сворачивают плакаты, мусорщик убирает площадь, идет с тележкой. На тележке ящик для мусора. Вдруг он в этом ящике обнаруживает мегафон. Кто-то в спешке сунул его по ошибке в ящик. Мусорщик вертит его в руках, нажимает на кнопки, спрашивает у людей: «Чей?» Наконец хозяин находится, господин с плакатом, который берет, походя, мегафон, как будто с полки, где только что оставил. Не благодарит мусорщика, продолжает с кем-то переговариваться, продвигаясь к выходу. За что благодарить? Мусорщик отдал то, что ему не принадлежит.

Автобусы ходят редко, а носятся со скоростью мотоциклистов-рокеров. Огромные двухчастные вагоны несутся пулей среди машин, да и машины не отстают. Говорят, что водители автобусов в основном бывшие летчики. Их, вышедших рано на пенсию, охотно берут на эту работу: в экстремальных обстоятельствах у них хорошая реакция. Ну, а от небесных скоростей они никак не могут отвыкнуть.

В автобусе атмосфера по-домашнему дружеская: взгляды, душевное расположение сближают людей, которые в любую минуту могут быть атакованы террористами. Господин лет восьмидесяти. Огромный чемодан на колесиках, молния расстегнута. Поднявшись в автобус, он прикрутил чемодан веревкой к

стойке, воткнул в карман чемодана большой букет цветов, сел к окошку, достал пук газет и принялся за чтение. Пассажиры наблюдают за странным стариком. Он ехал почти до конечной остановки, в автобусе осталось пять пассажиров, все пять бросились помогать ему — отвязали чемодан, спустили на землю, аккуратно передали букет цветов.

В подъезде объявление по-русски: «Дипломированный электрик выполняет все виды работ». Солнечные батареи и сейчас, в декабре нагревают воду, но только к концу дня. За ночь вода остывает. В квартире, где я живу, под утро холодно, как в таежной палатке осенью, когда лежишь в спальнике и не хочется вылезать, ждешь, может, сосед вылезет первым и растопит печку. Но печки в иерусалимских домах не заведены, а электроэнергия дорогая, приходится экономить моему доброму малоимущему хозяину. Володя приехал в Израиль двадцать два года тому назад и, как я уже говорил, в израильском климате не прижился. Оттого негативно настроен ко многому, и прежде всего к государству. Отношение к еврейству чуть ли не антисемитское. Точно такое же у его друга, тоже поэта. Но надо это понимать не в смысле идеологии, а так же, как политически грамотные люди в России настроены к своему среднестатистическому этносу. Нельзя же их назвать русофобами. Отсюда, издалека, кажется, что власть у нас наводит порядок. Не идет ни на какую сделку с террористами, как в Израиле, например, где выпустили недавно из тюрем толпу головорезов, обменяв их на одного человека.

Прощальный разговор за бутылкой вина у нас получился полемический.

Мучительна судьба эмигранта, смертельно сроднившегося с русской культурой.

За эту неделю отдалилась от меня Табгха. Отдалилась и, как ласточка, держится на расстоянии. На храмы, на стены, на камни смотреть больше неинтересно. Макет старого Иерусалима в музее — самое впечатляющее зрелище. Нынешний, настоящий, в моем слабом воображении не совмещается с библейским.

Но вернусь в Табгху, в то место, которое впервые представил себе на Камчатке, в геологической экспедиции, где я работал. Однажды под вечер мы разбили лагерь на широкой поляне, поросшей сочной травой. Почему-то она мне представилась той, евангельской поляной, на которой Христос накормил несколькими хлебами четырехтысячную толпу. Стреноженные лошади, отпущенные на волю, тут же захрупали мерно и звучно. Там, на евангельской поляне, тоже было «много травы», как пишет Иоанн. Представил я себе эту картину очень живо и нисколько не усомнился в совершенном чуде. В тот год, в экспедиции, я впервые открыл Евангелие. Моя будущая жена, провожая меня в аэропорт, принесла старенькую книжицу. Одолжила у кого-то почитать. И я за четыре месяца переписал Евангелие в свою тетрадь почти целиком. Еще потому запомнились мне этот день и эта поляна, что по рации мы услышали о смерти Паустовского, одного из моих любимых писателей в те годы. Странные бывают сближения, заметил однажды Пушкин. Странно, что издалека, из глухого блуждающего бытия я увидел ту поляну на берегу Генисаретского озера именно такой, девственно-несмятой, где мы остановились на ночлег. И теперь они соединились — Табгха и зеленое плато у подножия Толбачека.